



Видишь ли, Беа, труднее всего понять, что самое главное и что самое худшее, а если тебе это худо-бедно удастся, самое ценное то, что в этом нет никакой однозначности. Должна сказать об этом с самого начала, поскольку я сама это постоянно забываю. А всё потому, что так велика моя потребность в однозначности и больно понимать, что её не бывает. Но в то же время это понимание утешительно.

Как может быть утешительным то, что причиняет боль? Вот именно. Об этом я и говорю.

Если, к примеру, я скажу тебе: «Я тебя люблю». О да, я тебя люблю. Это невероятно. Ты необыкновенная! Ты такая красивая, умная и живая, ты лучшая во всём: хоть обниматься с тобой, хоть ругаться — одно удовольствие. Ты лучшее, что со мной когда-либо случилось, но вместе с тем для меня было бы предпочтительнее, если бы тебя не было, потому что я не выдерживаю тебя и того, что ты есть. Того, как я боюсь за тебя, как боюсь за себя — и всё только потому, что ты родилась. И я должна тебе со всей серьёзностью посоветовать бежать отсюда как можно скорее. Беги со всех ног, увеличивай дистанцию между мной и собой, вырастай поскорее. Я для тебя отраву, понятно? Семья — это рассадник неврозов, а хозяйка этой грядки, владычица в этом гнездилище я. Когтистая орлица с тёпло-мягким высиживающим задом, хриплым криком и громадным размахом крыльев, я схвачу любого,

кто близко к тебе подойдёт, вырву глаз, я кружу над тобой, учу тебя летать и во всём тебя опережаю. Я покажу тебе красóты и опасности этого мира, а когда ты улетишь одна, я останусь ждать тебя в гнезде: исполненная доброты, гордости и зависти.

Да ты и сама давно знаешь, о чём я говорю.

Недавно ты прямо-таки содрогнулась, придя домой:

— О боже, чем здесь так воняет?!

И ты права, дорогая. Воняет. Нами. Семьёй. Так утробно, укромно, противно, беги! Прильни к моему сердцу. Но помни, тебе надо прочь отсюда.

## ИЗВЕСТНО ЖЕ

У меня позднее зажигание. Или это у всех так, что им лишь к середине жизни внезапно бросается в глаза то, чего они не замечали все прошлые годы, хотя ведь всё было на виду?

Я всегда считала себя умной: дескать, знаю жизнь, умею понимать людей. В конце концов, ещё до школы я умела читать, хорошо выражать свои мысли и без проблем считала в уме. Я знала, что с Франком Хэберле и управлением надо держать ухо востро, а вот на Зимми Сандерс и на учительницу по труду можно положиться. Но вот о более сложных взаимосвязях, структурах или соотношениях власти понятия не имела. Тут мне не хватало самых простых сведений — например, о том, что моя жизнь могла бы сложиться и по-другому. А это ведь, пожалуй, и называется надёжностью. Защищённостью. Счастливым детством.

Я очень хорошо помню тот момент, когда подумала: «Чёрт! Если бы мои родители жили где-то в другом месте, у нас были бы совсем другие полы на кухне».

Эта догадка пришла ко мне уже после двадцати лет и после нескольких переездов: из своего города в Берлин, а потом то туда, то сюда.

На сей раз мне достался кухонный пол моей мечты: бесшовное наливное покрытие, ксилолит тридцатых годов, тёмно-зелёный и очень хорошо сохранившийся.

У моих родителей был западный линолеум из шестидесятых годов: серые с серыми же разводами плитки тридцать на тридцать, из-за чего направление разводов нигде не совпадало. Ничего не имею против этого пола; я очень хорошо на нём выросла. Легко было ухаживать за ним. Только когда он уже становился липким, мать говорила: «Надо бы помыть», и тогда я сыпала на него чистящий порошок и тёрла шваброй, и вода, которую я потом сливала в унитаз, была на удивление чёрной.

Пол как пол. Если у людей был другой, причина была в том, что они были другими людьми.

У сливного бачка в туалете сбоку была чёрная ручка. За которую я тянула, чтобы смыть грязь после уборки.

Сливной бачок не менялся, разве что когда вошли в моду стоп-кнопки для экономии воды, или когда старая механика изнашивалась, или отламывалась ручка из-за усталости материала. Мои родители никогда не ставили об этом в известность владельца квартиры. За многие годы жизни с родителями я этого владельца в глаза не видела. Может, потому так поздно поняла, в чём разница между съёмным и собственным жильём — потому что мои родители обращались со съёмной квартирой как со своей собственной и, когда надо, сами вызывали сантехника и платили ему из своего кармана. Почему? Чтобы не спорить, думаю я. Чтобы чувствовать себя свободными.

— Почему ты так злишься? — спросила меня подруга моей матери Рената, когда мы с ней сидели в кафе.

Я пожала плечами, мне-то казалось, я в полном самообладании пью себе чай и болтаю с ней обо всём на свете. Но она хотела говорить со мной о книге, которую я написала и в которой упрекала таких матерей, как моя, в том, что они навязывают дочерям своё представление о свободе, не имея никаких идей и никаких подсказок для её осуществления. Рената приняла этот укор на свой счёт; и правильно, хотя я и не думала о ней, когда писала.

— Ни одному поколению не удалось избежать, — ответила я, — обвинений в чём-нибудь от следующего поколения.

— Ну тогда желаю тебе удачи с твоими собственными детьми, — сказала она, и я кивнула:

— Спасибо. Постараюсь получить удовольствие.

Я люблю, чтобы последнее слово оставалось за мной. Но Рената тоже любит.

— На здоровье. — И это особое выражение лица: плохо скрытое всезнайство, притворная доброжелательность.

Я тоже владею этим выражением лица, оно передаётся от матерей к дочерям, как и неизжитые мечты, да: это выражение рассказывает об их мечтах, тогда как рот язвительно поджат. Губы кривятся, подбородок приподнят. Рената большая мастерица так смотреть. Но и я тоже.

Уже теперь и Беа начинает осваивать это, и у меня не хватает выдержки усугублять этот поединок, по мне лучше разъяриться, выговориться, обо всём написать и плюнуть Ренате в чай, чтоб она знала, что такое по-настоящему злиться.

— А ты помнишь, какой у нас дома был пол? — спросила я.

— Нет. А что?

— Он был ужасный. И совсем не нормальный! Но мне пришлось доходить до этого самой, вы же никогда с нами не разговаривали.

— Да разговаривали мы с вами, с утра до вечера, не притворяйся.

— Но не про полы и не про то, как к ним приходят.

Рената подняла брови и смотрела на меня насмешливо. Это она тоже умеет: внушить чувство, что ты не в своём уме.

Это она делала и раньше, когда приходила к моей матери в гости, а я была дома и что-нибудь рассказывала: про школу, про друзей, про несправедливость мира. И тогда Рената поднимала брови и ставила под сомнение мои высказывания, стараясь вселить в меня неуверенность, указывала мне на те аспекты, которые я упустила. И я тусовалась, вместо того чтобы использовать её возражения для тренировки в дискуссии.

Но теперь всё иначе, теперь я держусь стойко. И я говорю ей, что убеждена теперь: моя мать тоже находила эти полы ужасными, но принимала их как данность, как то, что она могла себе позволить, да ещё и говорила, что она к ним не имеет никакого отношения. И в этом обманывала себя, потому что этот пол с тех пор так и прирос к ней. Ну хорошо, возможно, я преувеличиваю. Но для меня мать остаётся женщиной, которая стоит на этом полу.

Брови Ренаты так и замерли поднятыми.

— Ну как ты не понимаешь? — Я начала злиться. — Мне надо было знать, чего она по-настоящему хочет, как прийти к тому, что считалось бы нормой и что могло послужить альтернативой — и почему она не воспользовалась ею!

— И какое отношение это имело к тебе?

— Полное! Я же, в конце концов, стояла на этом полу.

Рената отрицательно помотала головой и заказала ещё чаю. И пошла в туалет, явно не желая об этом говорить. Но ей придётся, ведь моя мать уже не сможет. Она умерла раньше, чем я поняла, о чём непременно должна расспросить её и в каком месте присверливаться и допытываться, почему молчание было намеренным, а вовсе не было упущением, как я узнаю теперь от Ренаты. Ни одна из них — ни Рената, ни моя мать — не хотела обременять своих детей старыми историями и анекдотами, тем более такими, где речь шла о нехватке альтернатив, о плохих предпосылках и о меньшем из двух зол.

— Вы должны были оставаться свободными и идти своим путём.

— Да, — съязвила я. — Совершенно необременёнными.

Рената не поддержала мою иронию, она предпочитала ехидничать сама:

— Разумеется, твоя мать не отказалась бы от полового настила, какие делают на террасах шале на Женевском озере.

Да-да. Разумеется.

\* \* \*

Список для Беа: ксилолитовое покрытие я нахожу самым лучшим из всех полов, но на сегодня это безумно дорого, потому что стало редкостью. Позволить себе ксилолитовый пол — это запредельная роскошь, так что забудь об этом.

Дощатый кухонный пол, может, поначалу и выглядит красиво, но на досках остаются пятна жира, а в щелях скапливается грязь. Ты же по собственному опыту знаешь, что за таким полом трудно ухаживать.

Правда, и плиточный пол, который так легко моется, не назовёшь лёгким в уходе, потому что мыть его приходится каждый день, в плитки ничего не впитывается и всё лезет в глаза, разве что будет этот маскировочный узор из пятнышек или разводов, но с такой кухни, Беа, я сама сбегу без оглядки. Это ещё хуже линолеума, к тому же плитка студит ноги, если под ней не проложен подогрев. Скажем так: однотонные терракотовые плитки с подогревом — вот то что надо, если при этом есть домработница, которая постоянно за ними приглядывает.

У меня ещё никогда не было домработницы. Я сама работала домработницей, но это уже не относится к сравнительному списку полов — или относится?

Относится. Да. Разумеется.

Я решила рассказывать всё. Нет ничего само собой разумеющегося, всё рукотворно, всё взаимосвязано, приносит пользу или вред тому или другому, а то, что считается естественным, подозрительно вдвойне.

Беа уже четырнадцать, возраст инициации. Просвещена и введена в мир кухонных полов, разделения труда, распределения работы, работы уборщицы, оплаты труда, оплаты жилья, основных и дополнительных расходов, расчёта соотношения стоимость-польза, начислений и вычетов, как монетарных, так и эмоциональных.

В отличие от моей матери, я не буду исходить из того, что со временем она сама узнает всё, что ей положено знать; в отличие от Ренаты и её подруг, я не буду ничего утаивать из опасения, как бы мои рассказы не повлияли на детей отрицательно, как бы не расколодили их или не помешали им в развитии. Наоборот, я представляю дело так, что вооружаю их знанием и историями. Что провожаю их из дома не наивными и легкомысленными, а с грузом знаний и способностью к интерпретациям — вооружение и оснащённость весят кое-что.

Кстати, об оружии.

Я получила это письмо. Оно адресовано мне и содержит мастерски уклончивый документ — отказ мне в квартире, нет, не так: копию заявления о расторжении договора аренды квартиры, к моему сведению. Поскольку наша квартира — это на самом деле квартира Франка, он её официальный арендатор, и теперь он больше не будет снимать эту квартиру.

Мы живём здесь четыре года. После того как Франк и Вера переехали в К-23, мы вселились в их бывшую квартиру; это было везеньем, потому что наша была нам уже мала — даже с тремя детьми, а теперь их у нас уже четве-

ро; нам повезло дружить с человеком, имеющим старый, восемнадцатилетний договор аренды, который стал ему больше не нужен.<sup>1</sup>

Но в лесу как аукнется, так и откликнется, известное дело.

Это письмо — расплата мне за то, что я сделала, поэтому оно адресовано именно мне, а не Свену или не нам обоим. Это я виновата в нашей беде, я поставила Франка в положение, в котором ему пришлось прибегнуть к этой мере. Всё, что произошло, я сама навлекла на свою голову, и сделала я это здесь, в моей каморке, на этих двух квадратных метрах рядом с кухней берлинского дома старинной постройки; каморка предусматривалась здесь в качестве кладовки, по сути это часть туалета, с которым у неё общее окно. Дети кто в школе, кто в садике, а Свен в своей мастерской — где он тоже лишь временный субарендатор, пока инвестор заново формулирует отклонённые бумаги и пробивает разрешение на строительство. Формулировка — решающее дело. Я смотрю на полученное письмо.

«Многоуважаемые дамы и господа», — написано там, без личного обращения, заявление адресовано домоуправлению, а для меня поставлен только этот штамп: «К сведению», он и вовсе не требует никакого обращения. Только зелёная штемпельная краска. Очень официально. Очень странно, Франк, как-никак, не контора, а старый

<sup>1</sup> По законам Германии первоначальные условия аренды квартиры могут лишь незначительно меняться от года к году, тогда как рыночная цена аренды может к этому времени вырастикратно. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

друг. И где он только взял этот штемпель? Разве нельзя было просто позвонить?

Нет. Франк не хочет со мной разговаривать.

«Да и не получилось бы», — сказала бы Вера.

Вера ещё пару месяцев назад написала мне имейл, и там было такое: «Наши дороги теперь расходятся», но я тогда не перевела это как «Подумай-ка теперь, куда вы переедете, поскольку следующий ход сделает уже Франк».

Я поняла её имейл так, что она отказывает мне в дружбе и больше не хочет со мной встречаться. Ещё там было написано: «Я люблю тебя», и только теперь, с извещением о прекращении аренды на руках, я понимаю, что есть два способа говорить о любви: просто и трогательно, потому что это правда — или грозно, как введение к мере пресечения. Так говорят родители. И боги.

С извещением на руках мне стало ясно, что Верин способ — второй, хотя я не её ребёнок, но зато старинная подруга, как бы родня по выбору, поэтому семейные правила касаются и меня.

В семье Веры любовь всегда очень подчёркивалась, какие бы гадости при этом ни происходили или ни вытекали из этого; Верино признание в любви обязано было меня насторожить, ведь это я, в конце концов, «грубо нарушила правила», поэтому ничему не должна «удивляться».

Правило, которое я нарушила, гласит: «Не надо полоскать на людях грязное бельё». Хорошая поговорка, укрепляет семью. «Бельё» означает личное, «грязное» означает то, что не подлежит предъявлению, а «полоскать» означает выболтать, выдать, рассказать. И если я

скажу, что рассказывать — это моя профессия, то Ульф мне ответит: «Не надо за этим прятаться». Ибо и профессию я выбирала себе сама.

Есть книжка с картинками Лео Лионни, в которой он защищает профессию художника. Эта книга была популярна ещё сорок лет назад, а теперь уже стала классикой — что отнюдь не значит, что посыл этой книги до кого-то дошёл.

В этой книжке описана группа мышей, которые собирали на зиму припасы и сильно устали — в то время как одна из них лежала на солнышке и, по её словам, собирала краски, впечатления и запахи. Есть ли у неё вообще право питаться теми припасами, когда придёт зима? Но вот поди ж ты, в самый беспросветный и самый голодный момент в конце зимы пробивает час якобы ленивой мыш-ки-лежебоки, и она спасает остальных, описывая краски, запахи и вкус мира. «Да ты у нас поэт», — говорят мыши, и мышь-художница краснеет и кивает, соглашаясь.

Может, и Лео Лионни за эту историю следовало выгнать из квартиры? Наверняка некоторые из его друзей уверенно опознали себя в мышках-сбирательницах, а его бывшая жена сказала, как это было надменно с его стороны — раздуть до спасителя миров свою очевидную несостоятельность как кормильца семьи. Но как знать. Может, они все смеялись и дарили эту книжку друзьям и родным на день рождения, гордились своей дружбой с Лео и были благодарны ему за то, что он потрудился выразить их двойственность и вечную борьбу за жизненные проекты.